

Про дауна и бога

Аллилуйя, люди, свершилось, возносите к небу хвалу,
ломайте тонкие пальцы за зиму настывшей вербе,
накрывайте столы, шинкуйте к селёдке горчащий лук –
Ваня-даун проснулся рано и бога увидел первым.

Тот шёл, опустив голову, но горел золотистый нимб
(Ваню любила бабушка и часто читала книжки),
и Ваня всё сразу понял и очень хотел за ним,
но не пустило тело, к тридцати обрюзгшее слишком.
Да и окно с решёткой (пятый, поди, этаж)
он не открыл, понятно, только ладонь поранил.

Мир ничего не видел – где значим объём продаж,
не пробудиться страху, не прозвучать осанне.
Бог уходил всё дальше, плакал навзрыд дебил,
трясся, сморкаясь трубно в мятый подол рубашки.
Он же как мог, так верил, он же за всех просил:
маме – конфет и платью, пчёлам – цветущей кашки.

День наступал, как гунны; жарила плоть плита,
плыл по квартире запах: спонсоры, пища, милость.
Ваня смотрел в окошко и бормотал:
«Бо-бо-о-х...», а старая мама чадца тихо, привычно злилась:
– Горе моё, ну что ты, где у тебя болит,
хоть бы тебя прибрали к стае господней птицей...
...Шёл над землёй и слушал эхо таких обид,

что и хотел бы – света, но понимал – лучиться
поздно, пускай скорее кончится гиблый век.
Миг – и помчатся кони Судного дня.

...Но чем

так зацепил тот сырый, маленький человек,
что до сих пор он полон им и преступно нем?
Время открыться Слову, время звучать трубе,
время камням летящим серу нести и пламя.
Время!

Но шепчет голос, даже начав слабеть,
что-то о пчёлах, кошках и престарелой маме.

Истинное

Немногое, что истинно – твоё,
но этого немногого довольно,
чтоб свет был светом...

Тонкое литьё ограды парка,
запах влажной хвои,
дорожки, занесённые песком,
и жёлуди, набрякшие томленьем;
кот, дышащий пушистым животом;
скамеечные волглые колени;
прописанные бледно облака,
прозрачный холодок седьмого неба;
и четвертинка мятого листка,
и буквами удержанная небыль;
и «сад камней»,
и бледно-жёлтый мох,
и вечер, наливающийся синью;
и сын, в глазах которого ты – бог,
верней, богиня.

Набело

То ли кризис среднего всеми лапами
наступил на маленькую меня,

посчитав отгрызком особо лакомым,
то ли это время пришло менять
дашь на дашь по курсу большой усталости, —
но прижал к земле атмосферный столб.

По утрам зеркалится взгляд безжалостный
и встает ошую двугорбый долг.

«Запасайся, — шепчет, — водой терпения,
впереди нелёгкие времена».

Одесную — пусто. Кокетство с теменью
может даже ангела доконать.

Но, надев пальто, нацепив улыбку,
принимаю правила общежи...
Житие моё, как обычно, зыбко,
пролетаю цели и этажи.

И летит мне вслед остроклювой птицей
тень от авторучки/пера/стило,
чтобы сделать буквой, вживить в страницу:
навсегда, бестрепетно, набело.

Если

Если долго стоять у могилы брата,
то с гранита тусклого сходят даты,
и портрет, давно не хранящий сути,
обретает едкий характер ртути —
вот черты плывут с дождевой водою,
обнажая главное.

Подо мною —
как черта, что держит метаний сумму —
глинозёмный слой, благодатный гумус,
где лежат без жизни сухие зёрна.

Можно верить в то, что от века спорно:
в беспримерный суд, в воскресенье плоти,
но меня сомнение вновь приводит
на сыпучий край безразличной ямы.

На ладонях почвы – бугры да шрамы,
что таят эпохи ещё до homo.
Среди них и горе моё фантомно,
и сама я – тень.
Да простится тени,
что ведут не к свету её ступени.

День ещё один не пройден, так прожит.
Вязнет в глине мысль, и сегодня ноша
тяжела, как тёмное время суток,
но люблю без веры, вразрез рассудку,
и держусь за память, за тень возврата,
за пригоршню праха с могилы брата.

Наедине

В доме твоём последнем выросла земляника,
птицы вернулись в гнёзда, лес перешёл овраг.
Май наступает – впрочем, в мире ином, где мигом
можно считать столетье, я попаду впросак,
а потому, родной мой, будем не о погоде,
да и совсем не будем, вышли в расход слова.

Кто ты сейчас, в каком ты сочном зелёном восходе:
хрупкий тюльпан, пионы, яростная трава?

Ветер сегодня ласков, неба сегодня много,
и с высоты бездонной мир муравьиный мил,
и потому не видно, Гог ли ведёт магогов
или магоги сами в пыль обращают мир.

Я посижу недолго, ты не успеешь вспомнить,
кто я, зачем, откуда, кем назвалась тебе.

...Время течёт медово, нежится семя в комьях.
Ангел играет вечность на золотой трубе...

Под циклоном

У кого-то щи пустые, у кого-то жемчуг мелкий.
Рассыпается над миром манна снежной пеленой.
Тьма заваривает кашу, скоро выложит в тарелку
перегруженных проспектов заметённый город мой.

Капюшоном чёрной шубки шум условно ограничен,
но бытующая данность пробивается извне –
и гудят, гудят машины, и кричат чужие лица,
напряжённо возгоняя в мат перебродивший гнев.

Я прощаю и прощаюсь, мне привычно растворяться
не в тумане, так в раздумьях. Мне не страшно уходить
по-английски, по-эльфийски, безвозвратно, поабзацно –
у меня прошита в генах глупой Ариадны нить.

Люди тёмных остановок бьются истово и яро,
оставляя на ступеньках перья, пуговицы, шерсть,
и вопит Харон-кондуктор ртом иссохшим, ярко-алым,
что салон – не из резины и оставшимся – не сесть!

Плыть им, плыть по снежной каше мимо острых спилей рая,
мимо башен мидл-класса, мимо адовых лачуг
до исхода этой калыпы. Там, глядишь, придёт другая –
а потом сровняет складки вероятностный уют.

Но пока случится это, я успею попрощаться,
и проститься, и растаять, и опять себя найти
в бесконечном лабиринте с нитью, сжатой в тонких пальцах, –
чтобы стать ступенью первой на тесеевом пути.

Повелитель ос

Ворожейник из царства погибшего Оз-з-з,
дел мирских отойдя, выпасал диких ос –
пчелы мёрли, не приживались.
Да и осы не то чтоб особо велись,

но гудением мерным бодяжили жизнь,
облетая набухшую завязь.

А зимой, когда в сон уходили стада,
и над малым гнездом снежно пела беда,
и весь мир становился бумагой,
маг, укутавшись в шарф, выходил на крыльцо,
матерился тоскливо, теряя лицо,
ощущая вступленье в имаго.

Оболочки трещали, сминался покров,
пузырилась, темнея, холодная кровь,
расправлялись прозрачные пары –
и, жужжа на басах, он вставал на крыло,
и летел сквозь метель, в страх вгоняя село
и в дурдом – бугая-санитара,
что надумал курить, выйдя в древнюю тьму,
да обрел только ужас в похмельном дыму
и почётную койку в палате.

Ос, оставив огромный фасеточный глаз,
прозревал белый мир вдоль заснеженных трасс,
и в нём билась, как плащ – на Пилате,
первозданная мысль, и алел чистый гнев,
и под взмахами крыльев менялся рельеф,
и звенело начальное слово.

...Но смыкала мандибулы жорная смерть,
но паук ловко правил охотничью сеть,
где сушился откушанный овод.

Снег убьёт паука. Осы ранней весной,
пробудившись, собьются в потерянный рой,
призывая назад королеву.
Ворожейник испитый рванётся сильней,
и порвёт злую сеть, и уйдёт в мир теней,
сделав круг над заброшенным хлевом,
где, укрывшись от глаз, в сиротливом гнезде,
осы пишут скрижали на жухлом плоде,

пережившем жестокую зиму.

Тот, кто первым обрящет источенный плод,
бесполезное знание вмиг обретёт.

Ну, а осам что — сраму не имут.